

ЛИДИЯ ПАНН

Недавно редакция «НРСлова» впервые принимала у себя гостей из Парижа — знаменитого писателя Абрама Терца (в миру — Андрея Синавского) и издателя журнала «Синтаксис» Марию Розанову-Синавскую. Синавский приехал в Нью-Йорк по приглашению Колумбийского университета с циклом лекций о современной русской интеллигенции. Выступление пришлось на тридцатилетний юбилей знаменитого судебного процесса Синавского — Даниэля, поразившего цивилизованный мир многими диковинами (среди которых фактическое привлечение к суду художественной литературы, прибегшей к защите средствами самой литературы!). Мир же советский в большей степени был потрясен последним словом осужденного Синавского — услышав он его (и многие-таки по западному радио услышали и запомнили на всю жизнь) — всего лишь одной, неслышанной в те баснословные года фразой: «... я просто другой... но я не отношу себя к врагам».

Эту фразу в той или иной формулировке Андрей Синавский и вместе с ним его жена Мария повторяли (и претворяли — в дело) в течение всей последующей жизни. В парижской эмиграции, после опубликования «Прогулос с Пушкиным», после полемических статей о Солженицыне, после разногласий с редактором «Континента» В.Е.Максимовым, Синавский, «вечный другой», снова стал «врагом» для многих принципиальных (читай: догматических) борцов с коммунизмом. А ведь тоталитарное сознание, как опять и опять подтверждает ситуация в постсоветской России, не может быть сломлено стадным сознанием, из каких бы разномастных коров оно ни состояло. Необходима реальная оппозиция «других». Синавские наряду с другими «другими» составляют такую духовную оппозицию.

«Другость» Синавских восхищает не только своей смелостью и честностью, она еще талантлива, ярка, обаятельна, трогательна. И, может быть, именно она скрепляет это замечательное сотрудничество, дружбу, великую любовь...

Кто старое помянет, тому глаз вон. Но если это «старое» — обвинение в сотрудничестве с КГБ, прозвучавшее в опубликованной «НРСловом» статье Доры Штурман «Спокойной ночи...» от 2 июля 1993 (в ней излагалась «гипотеза» о том, что Синавские в эмиграцию были отправлены КГБ с заданием «чинить помехи работе» Солженицына), то можно на время и пренебречь поговоркой. И.Гурвич и Л.Панн в «НРСлове» возразили известному публицисту, но больше с позиций здравого смысла, нежели юриспруденции, поскольку тогда еще не были известны факты, опровергающие клевету. И вот в 34-м номере «Синтаксиса» картина — рукопожатие: женская рука (Марья Васильевна — не иначе) и мужская — В.Е.Максимова, как следует из «Заявления для печати», которое, слава Богу, Владимир Емельянович успел сделать в этой жизни: «... я считаю своей обязанностью принести свои извинения А. и М.Синавским за публично высказанные мною ранее в их адрес подозрения в вольных или невольных связях с КГБ».

— Как же этот ошеломляющий хеппи-энд мог произойти на нашей грешной земле?

М.Розанова: Вся эта история нашей вражды с Максимовым оказалась гораздо запутаннее и интереснее, нежели наше представление: плохой мальчик Максимов напал на хорошего Андрюшу Синавского по личным мотивам. Некоторое время назад, когда открылись архивы КГБ, среди бумаг 5-го управления (занимавшегося, как известно, интеллигенцией), учреждения советского, а значит составившего годовые отчеты и планы работы, был обнаружен такой вот документ: «С целью пресечения одного из возможных каналов проникновения противника в среду творческой интеллигенции на вехавшего с семьей из СССР «Диктора» (Синавского А.Д.) продолжать мероприятия по контролю за объектом и его женой перед окружением и оставшимися в Советском Союзе связями, как лиц, поддерживающих неадекватные отношения с КГБ. Совместно с 9-м отделом 5-го управления осуществить мероприятия по внесению разлада между «Диктором» и «Доном» (Даниэлем Ю.М.), ранее привлекавшимся к объектом к уголовной ответственности по одному делу. Срок исполнения — в течение года. Ответственный — тов.Иванов Е.Ф.»

Стало быть, это план работы одного из отделов на 1976 год. Надо сказать, что мы с этим Ивановым познакомились еще 8 сентября 65-го года, когда он пришел к нам в лагерь лейтенантского с обиском, на протоколах обиска есть его подпись. В начале 76-го года он приезжал в Париж в свете Брежнев — под видом журналиста. Добрался до меня, мы с ним встретились. Правда, я на этой встрече пострадалась быть под охраной французской контрразведки, которая через несколько часов, проследив за мной в Париже, задержала его и выдворила из Франции. Иванова этого волновало, что Синавский поддержал выдвижение Сахарова на Нобелевскую премию, поддержал активно: у нас была поездка по Скандинавии с агитацией за Сахарова. После этого является Иванов и начинает пужать — тем, что сделает нам очень и очень плохо, если мы не заткнемся. Мы не заткнулись. Как только меня начинают пугать, у меня срывается заложенный во мне механизм сопротивления. Я тут же пошла на радио «Свобода» и начала вещать. После выдворения из Франции Иванов совсем остервел в своей активности по дискредитации нашего морального облика. Работал усердно: уходил от в отставку из КГБ с должности начальника 5-го управления уже в звании генерала. Но и сейчас он не прозябает: служит начальником аналитического отдела банковской фирмы «Мост».

— Так что бедный Максимов наряду с другими (с той же Д.Штурман) попался в мышеловку?

М.Р.: Попался по-своему охотно, потому что к этому времени наши отношения были далеки от идеальных. Наша война началась вокруг «Континента», когда мы, не работавшие с Максимовым, не способные работать коллективно, вышли из журнала. А Максимов — все-таки дитя советской власти. Почему эта власть преследовала тех, кто от нее бежал? Ну, казалось бы, бежал, слава Богу, одним томом меньше, живи, где хочешь. Нет, влом ведет себя, как брошенная любовница: ах, ты от меня ушел, так я тебя изничтожу. Максимов, казалось, вел себя по этой схеме. Вот он заговорил, что мы — агенты КГБ. Я, однако, тоже за словом в карман не лезу. Слухам про агентов КГБ кто поверит, а кто и не поверит, нас все-таки достаточно много народ знал. А мои уклады и укусы, простите, гораздо

болезненнее. Хотя бы потому, что я нападала на него в моем любимом жанре клоунады.

Знаете, в свое время я много думала, откуда произошла советская власть, и в конце концов сформулировала, что от звериной серьезности. Так и казалось, что вся страна, все правительство, с серьезными лицами сидели на горшках и тужились. Такой вот образ государства у меня. Если бы люди относились ко многим вещам полегче, с юмором, может быть, нашего абсурда бы и не было. Когда вы смеетесь, вы не стараете, от вас отступают болезни, смеющегося человека уничтожить нельзя.

А.Синавский: Ленин даже плакался Горькому, что у него с чувством юмора плохо. Марксизм — очень серьезная наука, доктрина. Взять наш процесс с Даниэлем. Что, мы призывали к государственному перевороту? Нет, мы просто позволили себе остроить над этим строем, а этого советская власть очень не любит.

М.Р.: Максимов, рада отметить, оказался лучше, чем мы предполагали: если высшая добродетель — это не совершать дурных поступков, то следующая за ней — это умение признать свою неправоту и извиниться. Так что мы его извинения приняли и судебный процесс о клевете против «Континента» остановили. От Доры Штурман извинений, между прочим, не поступило.

Когда после обстрела «белого дома» мы с Максимовым оказались по одну сторону баррикады, помирились и стали по-человечески общаться, вдруг стало ясно, что его прежнее поведение можно объяснить тем, что он все время был смертельно влюблен в Синавского. Я всегда где-то это ощущала, подозревала, но открылось это только в конце его жизни. Это было удивительно: человек, который много лет носил меня и Синавского на всех углах, где только можно, совершенно преобразился, вдруг из него хлынула любовь, он не знал, какое еще доброе слово сказать, что бы еще хорошее нам сделать, как помочь «Синтаксису». Это чудо, когда человек приходит и просит прощения. Мгновенно одним злом в мире становится меньше. Мне так жалко его, так жалко, что мы помирились столь поздно. Я пишу сейчас книгу, которая будет называться «Абрам да Марья», большую книгу про наш роман с Синавским и про то, что по ходу пьесы случалось.

— Судя по тому, что вы, Марья Васильевна, пишете в эссе с тем же названием, напечатанном в этом абсолютно «глаза-лезут-на-лоб» 34-м номере, много чего случилось еще до начала вашего романа. Я имею в виду «историю с французской», описанную Синавским, пардон, Терцем, в романе «Спокойной ночи...» — эту историю вербовки чекистами вашего будущего жениха с целью слежки за иностранкой. Вы так раскрываете свои матриониальные планы: «Синавский, вместо того чтобы работать на органы, все рассказал французке. На юридическом языке того времени совершил измену родине, выдав иностранку государственную тайну. Не сдавая, не струсил, не предал, а спас. И я поняла, что вот это и есть для меня единственно надежный и заманчивый вариант: ни за Ваню, ни за Петю, ни за Жору, ни за Женю, а только с Синавским, и надо сделать все, чтобы выйти за него замуж и обеспечить себе тем самым интереснейшую жизнь».

Не спрашивая, знаю, что такую жизнь вы себе обеспечили. Но вот дальше вы пишете: «Мы с Синавским крутим многолетний производ-



Художник Юлия Беломлинская

“Абрам да Марья”



А.Синавский и М.Розанова во время работы над журналом «Синтаксис». Сер. 70-х гг.

ственный роман, рассуждая о своих литературно-издательских гайках и за утренним кофе, и на лагерном свидании, и на подножке трамвая». Производственная сторона романа, без сомнения, успешна: вы — издатель, публицист, писатель. Ваш муж тоже не простаивал на производстве, работал за двоих — за прозаика Терца и за литературоведа Синавского, и равно блистательно. Скажите, Марья Васильевна, а любовь выживает в производственном романе?

М.Р.: Только в таком романе она и есть. Ведь людей больше всего объединяет общее дело. Возьмите все средневековые дела: король-королева, царь с царицею или он — мясник, а она делает котлеты. Ту самую работу, которую производят в койке, очень может быть, наш дворник дядя Вася делает лучше нас, но о чем же с лядей Васей утром разговаривать?

— Недавно писательница Виктория Платова в рецензии на книгу В.Агафонова «Книга Свиный» заметила, что в современной нашей прозе, созданной в основном «поколением спившихся людей», «нет ни одной достойной внимания любовной сцены — скорее всего потому, что авторы вспоминают свой сексуальный опыт сквозь тяжелое похмелье». Не можете ли вы привести пример художественной удаче в этом жанре?

А.С.: «Москва-Петушки». Веничка, правда, не дошел до своей любви.

— Он вспоминает о ней не сквозь похмелье, а до, так сказать. Поэтому так хорошо, возможно.

А.С.: Я его очень люблю...

— Чтобы завершить любовную тему, отмечу: интерпретация этой темы Абрамом Терцем в его последнем сочинении «Путешествие на Черную речку» делает «Капитанскую дочку» книгой для взрослых. Ведь любовь Петруши Гринева к Маше, оказывается, была очень серьезной, глубокой, правильно я поняла?

А.С.: Под действием сердечных лучей этот недоросль преобразается. Он умнеет и взрослеет не по дням, а по часам. Еще недавно, как положено профессору, он, в общем-то, пылал по течению, то и дело попадая впрок. И вдруг ни с того ни с сего протек, мы видим, начинаешь здраво судить о людях, трезво оценивать ситуации, разбираться в коварствах и планах и даже, представьте, исторически и философски мыслить. Это любви открывает ему глаза, питает и раздвигает разум. Любви, первичная в стрости и понимании мира — негласно внушает Пушкин «Капитанской дочкой». Негласно, потому что Пушкин ничего не объясняет, не доказывает, не проповедует и вообще спервоначалу

А.С.: Да. Собственно, Карабчевский меня и натолкнул написать о Маяковском, которого я любил с детства. Но дело не только в моем несогласии с ним относительно Маяковского, он ведь весь авангардизм зачеркивает, касаясь Бродского, поздней Цветаевой, раннего Пастернака. Книга Карабчевского производит впечатление ревнивой женщины. Взять хотя бы его сведение счетов с Лилей Брик. Писать про восьмидесятилетнюю женщину, что она хотела отдавать Параджанову, писать про это книгу... И про самого Маяковского пишет не относясь к делу. Оказывается, у Маяковского были короткие ноги. Сам он был высокий, а ноги короткие. Ну какое это имеет отношение к поэтике? Хорошо, я могу в ответ ему: а у Лермонтова ноги были кривые. Что тогда? Или вот он подчеркивает: Маяковский урюк, но не затягивался глубоко. Что бы это значило? Трус, мол, он, котина боялся. Да человек застрелился, в конце концов! А он придирается по мелочам.

— Вы следите за современной русской литературой?

М.Р.: А чужда у нас не читатель, чужда — писатель.

— Эта распространенная отговорка (Битов точно так же прореагировал) не пройдет в случае литературоведа А.Синавского.

А.С.: Да, я все еще читатель. Вот «Красное колесо» почти целиком осилил. Предупреждая ваш вопрос о моей оценке, скажу, что в суждении о «Красном колесе» я не могу быть объективным, я ведь не сторонник такого эпического реализма, романов-колоссов, где с мельчайшими подробностями излагаются исторические события, причем явно с уклоном в политику. Чего мне особенно не хватает в «Красном колесе»? Мне не хватает духа начала 20-го века! Где там, скажем, Александр Блок? Там нет Александра Блока. Это потому что Солженицын интеллигентно презирает.

М.Р.: Последнюю книгу я ему не даю читать, я ее просто спрятаю. Я сказала, что жизнь коротка, это во-первых, а во-вторых, это не по-христиански — читать Солженицына. Почему? Ты же читаешь, говоришь, с дурными чувствами: читаешь и наслаждаешься тем, что это плохо написано. Стыдно!

А.С.: Я могу сказать, кто мне из современных писателей нравится. Венедикта Ерофеева я уже упомянул. Петрушевскую я люблю, Танию Толстую я люблю. Михаил Кураев еще. Но я, к сожалению, не успеваю по-настоящему следить за самыми новыми именами. Да и особенно они не сияют. А ведь мне казалось, дайте только свободу — и искусство расцветет, но теперь свобода есть, а искусства маловато. Многие писатели в состоянии растерянности, но мне кажется, положение литературы не худшее, кино труднее без государственной помощи, а писатель работает в одиночку, хотя, конечно, он попал в трудное материальное положение, так как книжники теперь в России не прокормятся. Но ведь писатели всегда должны быть в трудных обстоятельствах. Я на всю жизнь запомнил, как в лагере, когда я как-то стоял, о чем-то думая, с грустным, наверное, видом, ко мне подошел какой-то незнакомый старик и сказал: «Ничего-ничего-о, писателю и умирать полезно». Это меня как-то ободрило.

Лагерь, как ни странно, мне многое дал. Условия были тяжелые, кормили плохо, тяжелая работа, психологическое состояние было тяжелое: когда меня арестовали, моему ребенку было 8 месяцев, жена осталась одна с ним; ее меня очень угнетало, что на моем любимом занятии — писательстве — крест надо было ставить, как я тогда думал. А вместе с тем было ощущение счастья, потому что было очень-очень интересно, я попал как бы в свой мир, в сказочный, и страшную сказку.

Я помню первую фразу, которую услышал в лагере; я проснулся в первое свое утро, мимо моей койки проходил два мужика и один другому говорит: «Тринадцать лет, как в сказке, пролетело... В лагере я увидел, до чего же талантливы народ, вернее, народы, населяющие Россию. Люди попадали в лагерь нестандартные, с какими-то отклонениями от средней нормы советского человека. Главное, с этими людьми можно было разговаривать, ведь на воле не подойдешь к прохожему, не спросишь, кто такой, а в лагере все свои, все про себя рассказывают. Я был переполнен материалом, меня распирало. Лагерь меня очень обогатил, в эстетическом плане — это самая счастливая пора моей жизни.

— Недаром вы одну из лучших своих вещей — «Прогулос с Пушкиным» — в лагере написали. А «Голос из хора»?

А.С.: Он составился потом просто из моих писем из лагеря. Писатель — такое существо, которое может извлекать прибыль отовсюду, будь то драма страны, личное горе, голод... Честно говоря, мне теперь жалче не писателя в России, а простой народ. Ну, писатель помычается, но все-таки это не столь отчаянное положение, как у простого народа, который остался с одними колоссальными разочарованиями. Ну представляете, оказалось, что несколько поколений советских людей жили зря. Как бы ошибкой произошла! Ошибочка. Неудачная, неостроумная. Я совсем не коммунист, но я представляю себе стариков-коммунистов, у которых как бы зачеркнута жизнь. А с другой стороны, и демократия их не просветляет. Демократия к простому народу пришла в облике нищеты, голода, воровства, разбоя на улицах, все взятки берут. Так

что и здесь разочарования. Но для культуры опыт разочарований — я не говорю, что обязательно — бывает иногда плодотворным. Ну, вот такая аналогия: французский романтизм в лице Гюго, Шатобриана и других возник вследствие больших разочарований и в веке Просвещения, и во Французской революции; в результате — великие достижения в культуре начала 19-го века. Пути культуры неисповедимы, и мы не знаем, не можем сконструировать в собственном уме ситуацию, в которой окажется культура и искусство России в будущем. Искусство непредсказуемо.

М.Р.: Я спрашиваю Синавского: и на необитаемом острове будете писать? Буду, отвечает. Но ведь бумаги не будет! Буду писать на приборном песке. Но ведь волной смое! Снова напишу... Но вообще искусство создается на расстоянии от жизни. Мне попадаются в журналах очень хорошо написанные вещи, с прекрасным языком, с драматическими сюжетами, но сейчас я несравненно более сильно потрясен испытываю, просто перелистывая газеты. Происходит нечто такое в сознании людей, в стране, в мире, на земле, перед чем литература отступает. Мне несколько писателей говорили, что именно поэтому им трудно сегодня писать. Все, чем они могут взорваться изнутри, бледнеет по сравнению с тем, что происходит и как происходит.

— Тема лекций, прочитанных вами в Колумбийском университете («Интеллигенция и народ», «Интеллигенция и хлеб», «Интеллигенция и демократия»), — русская интеллигенция в наши дни, в России. Публике был представлен профессор Сорбонны Андрей Синавский, но временами сквозь него прорезался «налетчик» Абрам Терц. Впрочем, вы ему передали заключительное слово, чтобы он попугал западного человека приходом «скифов с раскосыми и жадными очами». Много раз я слушала ваши выступления, и всегда вы — «другой», на сей раз по отношению к вашему собственному сословию, вашему «любимому сословию» — интеллигенции.

А.С.: На мой взгляд, тут ничего особенного, это проявление человеческой индивидуальности, всякий человек — «другой». Я не думаю, что я делаю что-то специально, у меня естественная реакция. Я во многом историю воспринимаю символически, и мне показалось, что начинать демократию с расстрела — а интеллигенция аплодирует — это немисливо. Произошел скандал, российская демократия скомпрометировала само слово «демократия». Представляете, в стране, где вообще не было демократических традиций, наконец-то установилась демократия, и это, оказывается, означает воровство, нищету, расстрелы. Что-то в этом до некоторой степени роковое и символическое.

Как можно быть демократическим интеллигентом, призывая к расстрелу? Вот академик Лихачев, старый лагерник, святой человек, лампада, предшественник диссидентов, наконец, христианин, — здравствуй! Что это такое? Или христианин Сергей Австринец? Или христианин Солженицын (он, правда, к интеллигенции себя не относит). Я чту Лихачева, я полон дружеских чувств и любви к Окуджаве — и человеку, и поэту, но расстрельщиков я никогда не любил. Большая часть интеллигенции, и притом ее прекраснейшая часть, решительно поддержала расстрел.

В лекциях я пытался проанализировать, как дошли мы до жизни такой. Для меня это стало горячей точкой многих споров и расхождений, в том числе с некоторыми любимыми друзьями. Одним из доводов наших оппонентов являлось то, что у демократической России якобы не было и нет выбора, нет никакой альтернативы Ельцину, что Ельцин — это единственное олицетворение демократии в России. И если бы Ельцин не расстрелял «белый дом», к власти пришли бы коммунисты и фашисты. Или тогда бы в России началось гражданская война. То есть из двух зол предлагалось выбрать меньшее.

Меня эта логика категорически не устраивает. Когда выбирает только из двух зол, то добро вообще — ведомо, изначально — исключают из предмета выбора. Тогда человеческая мысль и свобода исчезают.

Думаю, что чеченские события в последние мозги прочистили. Между прочим, про Чечню очень неплохо сказал Горбачев: это похоже на то, как если бы Англия в ответ на террористические акции бомбила города Ирландии!

Сегодня интеллигенция начинает понемногу прозревать: если расстрел «белого дома» прошел сравнительно гладко, то в войне с Чечней Ельцин, слава Богу, поддержки не получил. Заметно расширяется интеллигентская оппозиция Ельцину. Я рад, что Сергей Ковалев вернулся в диссидентство, и надеюсь, что в этой роли он чувствует себя уютнее, чем в ельцинской службе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. А то бы сидел наш Сергей Адамович у господин Людоода советником по правам человека. Однако интеллигенция все еще не догадывается, что война в Чечне — это прямое продолжение расстрела «белого дома». И боюсь, что пока мое любимое сословие не поймет свою вину, добра не будет.

— Андрей Донатович, как вы думаете, Юлий Даниэль разделит ли ваше отношение к «любимому сословию»?

А.С.: Могли ли я отвечать за мертвого человека? Скажу только, что при его жизни принципиальных разногласий у нас с ним не было.